**Готфрид Бенн. Птолемеец**

Повествование ведется от первого лица. Автор и рассказчик, которому принадлежит Институт Красоты «Лотос», несколькими штрихами рисует картину Берлина в период оккупации, холодной зимой 1947 г.: население страдает от голода, на растопку идет уцелевшая мебель, торговля замерла, никто не платит налоги, жизнь остановилась. Институт Красоты постепенно приходит в упадок: служащим нечем платить, помещения не отапливаются. Хозяин остается в нем совершенно один, но это нисколько не удручает его. напротив, он даже рад, что избавился от назойливых посетителей, которые надоедают ему жалобами на отмороженные конечности и варикозные язвы. Он обзаводится пулеметом, невзирая на риск, связанный с подобным приобретением, и расстреливает из окна своего Института всех подозрительных лиц. Трупы убитых, как отмечает повествователь, ничем не отличаются от тех, кто замерз или наложил на себя руки. Редких прохожих также не смущает вид мертвецов: «зубная боль или воспаление надкостницы еще могли бы вызвать их сочувствие, но не бугорок, присыпанный снегом, — может быть, это просто валик от дивана или дохлая крыса». Рассказчика не мучают сомнения нравственно-этического характера, ибо в современную эпоху, когда в человеке постепенно отмирают «моральные флюиды», радикально изменилось отношение к смерти: «В мире, где происходили столь чудовищные вещи и который покоился на столь чудовищных принципах, как Показали недавние исследования, давно пора прекратить пустую болтовню о жизни и счастье. Материя была излучением, Божество — безмолвием, а то, что помещалось в промежутке, — пустяк».

По ночам к рассказчику обращается Бесконечный: «Ты полагаешь, что Кеплер и Галилей — величайшие светила, а они — просто старые тетушки. Как тетушек поглощает вязание чулок, так эти помешались на представлении о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Наверняка и тот и другой были беспокойными, экстравертными типами. А теперь смотри, как свертывается эта гипотеза! Ныне все вращается вокруг всего, а когда все вращается вокруг всего, ничего больше не вращается, кроме как вокруг себя самого». Рассказчик прислушивается к словам Бесконечного, однако чаще всего ведет диалог с самим собой. Экскурсы в историю, географию, атомную физику и палеонтологию сменяются профессиональными рассуждениями о достоинствах всевозможных косметических средств.

Объясняя, почему он дал своему Институту название «Лотос», рассказчик ссылается на миф о лотофагах. Поклонники прекрасного и те, кто жаждут забвения, питаются плодами лотоса, ибо не нуждаются в иной пище, в их власти — надеяться и забывать. В мире, где все ценности стали относительными, где попытка понятийного мышления узреть всеобщую взаимосвязь явлений изначально обречена на провал, только искусство способно противостоять тотальному духовному кризису, ибо оно создает автономную сферу абсолютной реальности. Творчество имеет сакральный смысл и обретает характер мифически-культового ритуала, посредством которого художник «освобождает» сущность вещи, выводя её за пределы конечного. Изолированное Я художника создает монологическое искусство, которое «покоится на забвении, и есть музыка забвения». «Идеологическим содержанием» своего Института он объявляет следующий принцип: «возникнуть, наличествовать лишь в акте проявления и снова исчезнуть».

Рассказчик яростно обрушивается на мифологизированное представление о жизни, свойственное сознанию обывателя, который трусливо мирится с любыми обстоятельствами и мотивирует свою покорность тем, что пресловутая «жизнь» не учитывает интересы и чаяния отдельного человека, подчиняя его своим «вечным целям». Повествователь произносит суровый приговор «жизни»: «Это плевательница, в которую все харкали — коровы, и черви, и шлюхи, это — жизнь, которую все они пожирали с кожей и волосами, её непроходимая тупость, её низшие физиологические выражения как пищеварение, как сперма, как рефлексы, — а теперь еще приправили все это вечными целями». В ходе этих рассуждений рассказчик необъяснимым для себя самого образом внезапно ощущает, что любит эту лютую зиму, которая убивает все живое: «пусть бы вечно лежал этот снег, и морозу не было конца, ибо весна стояла передо мной, словно некое бремя, в ней было что-то разрушительное, она бесцеремонно притрагивалась к той аутичной реальности, которую я только предчувствовал, но которая, к сожалению, навсегда покинула нас». Однако рассказчик спешит добавить следующее: он боится весны отнюдь не из-за страха перед тем, что снег растает и неподалеку от Института найдут многочисленные трупы людей, которых он застрелил. Для него эти трупы — нечто эфемерное: «В эпоху, когда только масса что-либо значит, представление об отдельном мертвом теле отдавало романтикой».

Рассказчик горд тем, что не вступает в конфликт с духом времени, в котором протекает или, скорее, недвижно стоит его бытие. Он принимает все таким, каково оно есть, и лишь созерцает этапы духовной истории Запада, хотя сам пребывает как бы вне времени и пространства, объявляя эти последние «фантомами европейской мысли». Свои впечатления он передает в форме свободных ассоциаций: «Настало утро, прокукарекал петух, он прокричал трижды, решительно взывая о предательстве, но больше не было того, кого могли предать, как и того, кто предал. Все спало, пророк и пророчество; на Масличной горе лежала роса, пальмы шумели под неощутимым ветерком — и вот взлетел голубь. Святой Дух, его крылья почти беззвучно рассекали воздух, и облака приняли его, он больше не вернулся назад — Догме пришел конец». Повествователь имеет в виду догму о человеке, о homo sapiens. Он поясняет, что здесь уже нет речи об упадке, в котором находится человек, или даже раса, континент, определенное социальное устройство и исторически сложившаяся система, нет, все происходящее — лишь результат глобальных сдвигов, в силу которых все творение в целом лишено будущего: наступает конец четвертичного периода (четвертичный период — квартэр) соответствует последнему периоду геологической истории, который продолжается поныне. — В. Р.). Однако рассказчик не драматизирует эту ситуацию, перед которой стоит человечество как вид, он пророчески провозглашает, что «рептилия, которую мы называем историей» не сразу и не вдруг «свернется в кольцо», что нас ожидают новые «исторические» эпохи, а ближайшая картина мира будет, скорее всего, «попыткой связать воедино мифическую реальность, палеонтологию и анализ деятельности головного мозга».

В жизни социума рассказчик предвидит две основные тенденции: безудержный гедонизм и продление жизни любой ценой с помощью фантастически развитой медицинской технологии. Повествователь уверен, что эпоха капитализма и «синтетической жизни» только началась. Надвигающийся век возьмет человечество в такие тиски, поставит людей перед необходимостью такого выбора, что уклониться от него будет невозможно: «Грядущее столетие допустит существование лишь двух типов, двух конституций, двух реактивных форм: те, кто действуют и хотят подняться еще выше, и те, кто безмолвно ждут изменения и преображения — преступники и монахи, ничего иного больше уже не будет».

Несмотря на довольно мрачные перспективы, ожидающие человечество в недалеком будущем, рассказчик уверен, что его Институт Красоты «Лотос» еще будет процветать, ибо его услуги нужны всегда, даже если людей заменят роботы. Рассказчик не причисляет себя ни к оптимистам, ни к пессимистам. Завершая свое пророчески-исповедальное эссе, он говорит о себе: «Я верчу диск, и меня самого вертит, я — птолемеец. Я не стенаю, как Иеремия, я не стенаю, как Павел: «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (см. Рим. 7:15. — В. Р.) — я таков, каким буду, я делаю то, что мне является. Я не ведаю ни о какой «брошенности» (имеется в виду выражение М. Хайдеггера. — В. Р.), о которой говорят современные философы, я не брошен, меня определило мое рождение. Во мне нет «страха перед жизнью», разумеется, я не навешиваю на себя жену и ребенка вкупе с летним домиком и белоснежным галстуком, я ношу незаметные глазу повязки, но при этом на мне — костюм безупречного покроя, снаружи — граф, внутри — пария, низкий, цепкий, неуязвимый. <…> Все так, как должно быть, и конец хорош».